

Александр Скабичевский

М. Ю. Лермонтов. Его жизнь и литературная деятельность



Жизнь замечательных людей

Александр Скабичевский

**М. Ю. Лермонтов. Его жизнь и
литературная деятельность**

«Public Domain»

Скабичевский А. М.

М. Ю. Лермонтов. Его жизнь и литературная деятельность
/ А. М. Скабичевский — «Public Domain», — (Жизнь
замечательных людей)

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

ГЛАВА I	5
ГЛАВА II	13
ГЛАВА III	17
ГЛАВА IV	20
ГЛАВЫ V	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

А. М. Скабичевский

М. Ю. Лермонтов. Его жизнь и литературная деятельность

*Биографический очерк А.М. Скабичевского.
С портретом Лермонтова, гравированным в Петербурге К.
Адтом, и многими рисунками.*

ГЛАВА I

Рождение и детские годы Лермонтова. Поездка на Кавказ

Бабушка Лермонтова по женской линии, под крылом которой он провел все свое детство, Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, а по мужу Арсеньева, была из старинного дворянского рода и представляла собою типическую личность помещицы старого закала вроде Татьяны Марковны Бережковой в “Обрыве” Гончарова: она была высока, стройна, со строгими, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойная, умная, неторопливая речь подчиняли всех окружающих ее. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всем говорила “ты” и не стеснялась высказывать в глаза правду, хотя бы самую горькую. Прямой, решительный характер, привычка повелевать, доходившая порою до сурового деспотизма, были причиной, что товарищи Лермонтова по юнкерской школе прозвали ее Марфой Посадницей; в обширном же круге ее родства и свойства ее называли просто “бабушка”.



Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка М. Ю. Лермонтова

Муж Елизаветы Алексеевны, Михаил Васильевич Арсеньев, умер совершенно неожиданно от удара, в самую веселую минуту, на святках, будучи в костюме могильщика из шекспировского «Гамлета», и она осталась вдовой с единственной пятнадцатилетней дочкой Марьей. Это было крайне болезненное, хрупкое, эфемерное создание; тем не менее у нее нашелся жених, в которого она была страстно влюблена, – Юрий Петрович Лермонтов, живший с сестрами в своем имении Кроптовка Тульской губернии Ефремовского уезда, по соседству с родственниками Елизаветы Алексеевны, Арсеньевыми. Он происходил от древней шотландской фамилии, переселившейся в Россию в XVI веке, и предки его занимали видные должности при первых царях из дома Романовых, но род их обеднел, и средства оскудели. Сам Юрий Петрович, получив воспитание в 1-м кадетском корпусе в Петербурге, потом служил в нем, но принужден был выйти в отставку в 1811 году, с чином капитана, так как пять сестер его, проживавших в Кроптовке, не могли одни справиться с хозяйством.

При таких условиях Юрий Петрович не представлялся блестящей партией для дочери в глазах Елизаветы Алексеевны, и как сама она, так и вся богатая ее родня смотрели неблагоприятно на брак Марьи Михайловны с бедным отставным армейским офицером. Тем не менее брак состоялся. Юрию Петровичу было предоставлено управление имениями тещи, селом Тарханы и деревней Михайловское Пензенской губернии; он и распоряжался этими имениями до смерти жены полным хозяином.

Когда молодая почувствовала себя беременною, она отправилась с мужем и матерью из Тархан в Москву, и здесь, в доме на Садовой близ Красных ворот, со 2 на 3 октября 1814 года у нее родился сын Михаил. Малютка и мать были окружены всевозможными заботами; из Тархан заранее были высланы две мамки, из которых была выбрана Лукерья Алексеевна, долго потом жившая на хлебах в Тарханах. Лермонтов уже взрослым не раз навещал ее и привозил ей подарки. Из Москвы Лермонтовы вернулись в Тарханы, и Юрий Петрович выезжал из них лишь по хозяйственным делам то в Москву, то в тульское имение.



Село Тарханы

Мир, любовь и согласие недолго царствовали в семье Лермонтовых. Трудно в точности определить, что было главной причиной семейного разлада. Юрий Петрович, красавец,

блондин, сильно нравившийся женщинам, привлекательный в обществе, веселый собеседник, “*bon vivant*” по выражению воспитателя Лермонтова Зиновьева, в то же время вспыльчивый до самодурства и грубых, диких проявлений, совершенно выходящих из пределов приличий, тем не менее был человек добрый, мягкий, и крепостные люди отзывались о нем как о барине “очень добром”.

Неизвестно, женился ли он на Марье Михайловне по любви или по одному расчету; опостылела ли она ему вследствие своей крайней болезненности и нервности, или же недоброжелательство тещи и ее властное вмешательство во все семейные дела были причиной его охлаждения, – но только у Юрия Петровича объявилась вскоре новая связь. “Старожилы, – читаем мы в биографии Лермонтова г-на Висковатова, – рассказывают, что между супругами Лермонтовыми вышли недобрые столкновения из-за проживавшей у Юрия Петровича особы и что разгневанный Юрий Петрович весьма грубо обошелся с женою. Факт этого грубого обращения был последнею каплей полыни в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая открытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкою в Тарханах”.



Юрий Петрович Лермонтов, отец поэта



Марья Михайловна Лермонтова, мать поэта

Слабая и болезненная от природы Марья Михайловна совсем была подкошена охлаждением мужа и ссорой с ним. “Она стала хворать, – читаем мы в биографии г-на Висковатова, – в Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому, с утешением и помощью; помнили, как возилась она и с болезненным сыном. И любовь, и горе выплакала она над его головою. Посадив ребенка себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно; звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику”.

Память о матери глубоко запала в чуткую душу мальчика; как сквозь сон грезилась она ему потом. В детстве звуки песни, петой ему матерью, всегда доводили его до слез; позже он не мог уже вспомнить слов ее, но утверждал, что, если бы услышал эту песню, она произвела бы на него прежнее действие.

День ото дня таяла убитая горем женщина. Пока она держалась на ногах, люди видели, как она бродит по комнатам господского дома с заложенными назад руками. Трудно ей было напевать обычную песню над колыбелью Миши. Наконец она слегла в злейшей чахотке.

Муж в это время был в Москве. Ему дали знать; он прибыл с доктором, но спасти больную было уже нельзя, и она скончалась на другой день по приезде мужа.

Что произошло между Юрием Петровичем и тещею, неизвестно, но он по смерти жены пробыл в Тарханах всего девять дней и затем уехал к себе в Кроптовку, оставив трехлетнего сына на попечении бабушки.

Со смертью дочери вся любовь Елизаветы Алексеевны сосредоточилась на внуке; она не расставалась с ним ни днем, ни ночью, – он и спал в ее комнате; наблюдала за каждым шагом его. Малейшее его нездоровье приводило ее в крайнюю тревогу и было таким событием в доме, что даже дворовые девушки освобождались от работы и должны были молиться об исцелении молодого барина. А здоровье мальчика действительно могло внушать опасения: очевидно, он от матери наследовал крайнее худосочие, был ребенок и золотушный, и рахитичный, вечно покрытый то сыпью, то мокрыми струпьями, так что рубашка прилипала к его телу. Кривизна ног, составлявшая впоследствии источник сокрушений Лермонтова при его претензии на роль женского сердцееда и приравнивавшая его несколько в этом отношении к колченогому Байрону, была прямым следствием английской болезни.

Суровая и строгая ко всем окружающим, бабушка к одному внуку выказывала бесконечную нежность и доброту, беспрекословно исполняя все его прихоти, ни в чем ему не отказывая и ничего для него не жалея. Все ходило кругом да около Миши; все должны были угождать ему, забавлять его. Зимой устраивалась гора, на ней катали Мишу, и вся дворня, собравшись, потешала его. На Святки каждый вечер приходили в барские покои ряженные из дворовых, плясали, пели, играли кто во что горазд, нарочно для этого освобождаясь от урочных работ; на Святой мальчика забавляли катаньем яиц.

Нельзя сказать, что положение всеобщего баловня благотворно отражалось на характере ребенка. Оно развивало в нем деспотические наклонности, необузданное своеволие, привычку ни в чем себе не отказывать, не терпеть ни малейшего отпора своим прихотям и капризам и даже некоторую жестокость. Так, во втором отрывке из неоконченной повести Лермонтов, описывая детство Саши Арбенина и подразумевая в нем до некоторой степени самого себя, изображает своего героя “преизбалованным и пресвоевольным ребенком”... “Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу”. Нет сомнения, что теми тяжелыми, антипатичными чертами характера, которыми впоследствии отличался Лермонтов, он был обязан именно этой вредной системе воспитания, весьма заурядной в дворянских, помещичьих семьях того времени.



М. Ю. Лермонтов (около 1823 г.)

Но были в детстве Лермонтова и добрые влияния, до известной степени парализовавшие дурные наклонности и смягчившие его душу. Так, со дня рождения к нему была приставлена бонна-немка, Христина Осиповна Ремер, безотлучно находившаяся при нем. Это была, по словам биографа Лермонтова г-на Висковатова, женщина строгих правил, религиозная. Она внушила своему питомцу чувство любви к ближним, не исключая и крепостных. Избави Бог, если кого-либо из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит. Не любила этого Христина Осиповна, стыдила ребенка и заставляла его просить прощения у обиженного. Вся дворня высоко чтит эту женщину; для мальчика же ее влияние было как нельзя более благотельно. Вторым смягчающим обстоятельством была болезненность мальчика. Сам Лермонтов говорит о себе в той же повести, описывая того же Сашу Арбенина, что «Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь – болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении; он не мог ходить, не мог приподнять ножки. Целые три года оставался он в самом жалком положении, и если б не получил от природы железного телосложения, то, верно, отправился бы на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но, увы, никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он охватывал все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привык побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волж-

ским разбойником, среди синих и студеной волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури”.

Мечтательность мальчика была еще более развита немецкими сказками и легендами, которые ему рассказывала Христина Осиповна. Русских сказок почему-то он не слышал в детстве, если судить по тому сожалению об этом, которое он впоследствии высказал в одной из своих записных тетрадей (1830 год): “Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская – я не слышал сказок народных; в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности”. Но очень странно, как это могло случиться с русским дворянским мальчиком, окруженным дворнею; и к тому же сам Лермонтов, по-видимому, противоречит себе, говоря все о том же Саше Арбенине: “Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую. Саше было с ними весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, *рассказывали ему сказки про волжских разбойников*, и его воображение наполнялось чудесами храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно в его детскую кроватку”... “Когда я был мал, – говорит Лермонтов в той же своей записной тетради 1830 года, – я любил смотреть на луну, на разнovidные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее; будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства”.

Когда Лермонтов вступил в отроческий возраст, были набраны одноклассники из дворовых мальчиков, обмундированы в военное платье, и Миша занимался с ними военными эзерцициями, играми в войну и разбойников. Кроме дворовых сверстников друзьями детства его были также жившие по соседству в усадьбе Апалиха родственники, дети племянницы бабушки Марьи Акимовны Шан-Гирей – дочь Екатерина и три сына, старший из которых, Аким Павлович, воспитывался с Мишей и всю жизнь оставался с ним в дружеских отношениях.

“У бабушки, – говорит этот самый А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях о Лермонтове (“Русское обозрение”, 1890, № 8), – было три сада, большой пруд перед домом, а за прудом роща; летом простору вдоволь, зимой – немного теснее, зато на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались снежными комьями; потом с сердечным замиранием смотрели, как православный люд стена на стену (тогда еще не было запрету) сходил на кулачки, и я помню, как раз расплакался Мишель, когда Василий садовник выбрался из свалки с губой, рассеченной до крови. Великим постом Мишель был мастер делать из талого снега человеческие фигуры в колоссальном виде...”

Когда мальчику было 11 лет, в 1825 году, бабушка, беспокоясь о его слабом здоровье, повезла его на Кавказ. Поехали многочисленным обществом: с ними были и кузины Столыпина, и родственник Пожогин, и доктор Ансельм Левис, и гувернер-дядька, *monsieur* Капе. В начале лета приехали в Пятигорск. Впечатлительный, мечтательный, нервный ребенок с чрезмерно развитым воображением был так сильно потрясен кавказскою природою, что потом на всю жизнь глубоко остались в нем эти первые детские впечатления Кавказа, любимого поэтом до гроба.

В то же время потрясенное красотами Кавказа отроческое сердце Лермонтова впервые забило тогда недетскою страстью. Вот как он сам описывает эту свою первую, столь преждевременную страсть:

“Кто мне поверит, что я знал любовь, имея десять лет от роду? – Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкою лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и

теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О, сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату, не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страхась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда? и поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованию, это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видел, или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в этот раз. Горы кавказские для меня священны... И так рано! С десяти лет. Эта загадка, этот потерянный рай – до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно – и я готов смеяться над этой страстью, но чаще – плакать. Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить священные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки”.

Предвидение, что до могилы будет терзать ум поэта эта детская первая страсть, не было одною экзальтацией. Действительно, образ девушки не оставлял поэта – и когда с Кавказа он вернулся с бабушкою в Тарханы, и пять лет спустя, как мы можем судить об этом по приведенной выписке из его записной тетради 1830 года, и, наконец, за полтора года до смерти (см. стихотворение *“Как часто, нестрою толпою окружен...”*).

ГЛАВА II

Воспитание Лермонтова. – Поступление в Московский благородный пансион. – Первые поэтические опыты

Поездка на Кавказ ради укрепления здоровья мальчика была предпринята, конечно, потому, что наступали годы, когда надо было подумать о более серьезном образовании Миши. В умственном отношении к десятилетнему возрасту он был совсем уже почти готов к этому. Ничего не жалеющая для внука бабушка тратила на его воспитание до пяти тысяч рублей, и когда отец его изъявлял желание взять сына к себе, она указывала ему на эту сумму, которую он не в состоянии был бы тратить на сына. Более всего, по общедворянскому обычаю того времени, обращалось внимания на языки. В то время как знакомая уже нам Христина Осиповна обучала Мишу с пеленок немецкому, для других языков нанимались гувернеры. Так, первый гувернер Капе был полковник наполеоновской армии, взятый в плен в 1812 году и оставшийся в России. Миша более всех гувернеров любил его, особенно за его восторженные рассказы о Наполеоне, о всех его войнах и сражениях, между прочим и о Бородинском сражении. По смерти Капе поступил в гувернеры еврей Левис, знакомивший питомца с немецкою словесностью. Он не ужился и должен был уступить место проживавшему в России со времен первой французской революции эмигранту Жандро. Последний сумел понравиться избалованному питомцу, особенно же бабушке и ее московским родственницам, безукоризненностью манер и любезностью обращения старой версальской школы. Пробыв в доме Лермонтовых около двух лет и желая овладеть воспитанником, он стал мало-помалу открывать ему “науку жизни”. Без сомнения, Лермонтов в поэме “Сашка” изображает Жандро под видом парижского Адониса, сына погибшего маркиза, пришедшего в Россию “поощрять науки”. Юному впечатлительному питомцу нравился его рассказ “про сборища народные, про шумный напор страстей и про последний час венчанного страдальца”...

Из рассказов этих Лермонтов почерпнул свою нелюбовь к парижской черни и симпатию к невинным жертвам, из которых на первом плане стоял, конечно, Андре Шенье. Но вместе с тем этот же наставник внушал молодежи довольно легкомысленные принципы жизни, и это-то, кажется, выйдя наружу, побудило бабушку ему отказать, после чего в дом был принят гувернером англичанин Винсон, бывший гувернер в доме графа Уварова. Винсон оставался у Арсеньевой несколько лет; им очень дорожили, платили три тысячи рублей и поместили с русской женой и детьми в особом флигеле. От него Миша приобрел знание английского языка и впервые в оригинале познакомился с Байроном и Шекспиром.

Не забыли и об эстетическом развитии мальчика. Он был обучен игре на фортепиано и на скрипке, отлично рисовал, лепил из крашеного воска целые сценки, вроде охоты за зайцами с борзыми, перехода через Граник и сражения при Арбелах со слонами и колесницами, украшенными стеклярусом и косами из фольги. В то же время одной из любимых забав ему служил театр марионеток. Так, мы видим, что в письме из Москвы он просит тетку выслать ему воску, потому что и в Москве он “делает театр, который довольно хорошо выходит и где будут играть восковые фигуры”. А. П. Шан-Гирей хорошо помнил эти куклы с вылепленными Лермонтовым головами. Среди них была кукла, излюбленная мальчиком-поэтом, носившая название “Vequin” и исполнявшая самые фантастические роли в пьесах, которые сочинял Лермонтов, заимствуя сюжеты или из слышанного, или из прочитанного.

Наконец в 1828 году бабушка повезла Лермонтова в Москву, с целью определить его в Благородный университетский пансион. В пансионе существовал обычай, что каждый ученик отдавался на попечение одного из наставников. Выбор предоставлялся родителям. Родственники бабушки, Мещериновы, рекомендовали Алексея Зиновьевича Зиновьева,

занимавшего в пансионе должность надзирателя и учителя русского и латинского языков. Зиновьев приготавливал мальчика к вступительному экзамену, и Затем, по принятому выражению, Лермонтов оставался “клиентом” Зиновьева во всю бытность свою в пансионе.

Поступив в 4-й или 5-й класс полупансионером, то есть с правом ночевать дома, Лермонтов учился блистательно, был вторым учеником. “Как теперь смотрю на милого моего питомца, – рассказывает Зиновьев в своих воспоминаниях о нем, – отличившегося на пансионном акте, кажется, 1829 года. Среди блестящего собрания он прекрасно произнес стихи Жуковского “К морю” и заслужил громкие рукоплескания. Тут же Лермонтов удачно исполнил на скрипке пьесу и вообще на этом экзамене обратил на себя внимание, получив первый приз в особенности за сочинение на русском языке”.

По традиции, сохранявшейся со времени Новикова, в пансионе особенно процветали между воспитанниками занятия литературой. Воспитанники собирались на общее чтение, издавался рукописный журнал, в котором многие из них принимали участие. Лермонтов, уж конечно, являлся деятельным сотрудником школьного журнала. Им тогда уже писались стихотворения, на которые было обращено внимание учителей. Так, он показывал свои переводы из Шиллера, любимому же своему учителю Александру Степановичу Солоницкому подарил тщательно переписанную тетрадку своих стихотворений. Особенно поощрял занятия литературой инспектор пансиона, известный московский профессор Михаил Григорьевич Павлов. Он предполагал даже собрать лучшие из опытов воспитанников и издать в виде альманаха. Намерение это осталось невыполненным, но Лермонтов в 1829 году, в письме в Апалиху к тетке своей Екатерине Алексеевне, с восторгом говорил о нем: “Инспектор хочет издавать журнал Каллиопу (подражая мне), где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется: Павлов мне подражает, перенимает у... меня!.. Стало быть... стало быть... Но выводите заключения, какие вам угодно”.

Кроме Павлова большое влияние на воспитанников имел учитель словесности в старших классах, известный поэт (автор песни “Среди долины ровныя”) Алексей Федорович Мерзляков. Он отличался живою беседой при критических разборах русских писателей и прекрасно читал стихи и прозу. Он тем более должен был оказать большое влияние на Лермонтова, что давал ему частные уроки и был вхож в дом бабушки. О влиянии этом можно судить по тому, что когда Лермонтов был арестован по поводу стихотворения своего на смерть Пушкина, бабушка воскликнула: “И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе! Вот до чего он довел меня!”

К эпохе поступления в Благородный пансион относятся и первые проявления творчества Лермонтова. Оставшиеся после Лермонтова записные тетради, которым г-н Висковатов совершенно справедливо придает важное биографическое значение, показывают нам, с какою органическою постепенностью развивался поэтический талант Лермонтова и как даже в своих первоначальных детских подражаниях он оставался уже верен характеру будущей своей поэзии и если брал чужое, то лишь то, что соответствовало этому характеру, было ему сродни. Так, первоначально он ограничивался лишь тем, что переписывал те произведения любимых авторов, какие ему наиболее нравились. Такими любимыми авторами, впервые пробудившими в мальчике его поэтический гений, конечно, были Жуковский и Пушкин. Но из Пушкина он переписал не что иное, как “Бахчисарайский фонтан”, из Жуковского – “Шильонский узник”. Последнее произведение – перевод поэмы Байрона; первое написано в байроновском стиле. Затем поэма Пушкина “Кавказский пленник”, пробудившая в мальчике личные воспоминания о Кавказе и тем более очаровавшая его, побудила его уже не к одной переписке, а к подражаниям. Первым таким подражанием является поэма “Черкесы”. Лермонтов писал ее в 1828 году, когда ему не было еще и 14 лет, в городе Чембаре, находящемся в 12 верстах от Тархан, за дубом, с которым связывалось дорогое для мальчика воспоминание. По крайней мере, рукою поэта на заглавном листе переписанной им начисто поэмы поме-

чено: “В Чембаре, за дубом”. Здесь вы находите целые стихи, взятые из поэмы Пушкина. Вторым подражанием поэме Пушкина является “Кавказский пленник”, поэма, написанная им тоже в 1828 году, но уже в Москве. “Шильонский узник”, в свою очередь, не остался без подражания, и к тому же 1828 году относится поэма Лермонтова “Корсар”, начинающаяся почти теми же словами:

Друзья, взгляните на меня!
Я бледен, худ, потухла радость!

К тому же периоду, то есть к четырнадцати годам, относит начало поэтической деятельности Лермонтова и Шан-Гирей в своих воспоминаниях. “Тут, – говорит он, – я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля – Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина; тогда же Мишель прочел мне своего сочинения стансы К*** (три звездочки); меня ужасно интриговало, что значит слово стансы и зачем три звездочки? Однако ж я промолчал, как будто понимаю. Вскоре была написана первая поэма “Индианка” и начал издаваться рукописный журнал “Утренняя Заря”, на манер “Наблюдателя” или “Телеграфа”, как следует, с стихотворениями и изящною словесностью; журнала этого вышло несколько номеров...”

От Жуковского был один шаг до Шиллера, с которым Лермонтову тем легче было познакомиться в подлиннике, что он знал немецкий язык. И здесь он начал переводами (“К Нине”, “Встреча”, “Перчатка”, сцены трех ведьм из переделанного Шиллером шекспировского “Макбета” и пр.), а затем увлекся драмами Шиллера, особенно “Разбойниками” и “Коварством и любовью”, тем более что эти драмы около того времени давались в Москве с участием Мочалова и Лермонтов видел их на сцене. Это увлечение было так сильно, что затем все, что ни замыслил Лермонтов под впечатлением от различного чтения, принимало драматическую форму. Прочитывал он “Аталу” Шатобриана, и в тетрадах являлась заметка: “Сюжет трагедии. – В Америке. – Дикие, угнетаемые испанцами. – Из романа французского Атала”. Знакомился ли он с русской историей, сейчас же являлся драматический сюжет – “Мстислав черный”. Читал “Жизнеописание Мария” Плутарха, – задумывал трагедию “Марий”, оканчивающуюся смертью Мария и самоубийством его сына. Затем в той же тетради говорит он о желании написать трагедию “Нерон”.

Но все эти замыслы оставались без исполнения, по всей вероятности потому, что были не под силу 15-летнему мальчику, так как требовали знания нравов, жизни, этнографии, истории. Наконец воображение юноши остановилось на Испании. “Ни одна страна, – по справедливому замечанию г-на Висковатова, – не могла представить данных, более удобных для составления драм. Тут, казалось, и не требовалось особого изучения нравов и жизни. Молодой фантазии услужливо представлялись гордый своими предками, закоренелый в сословных предрассудках кастилец, инквизитор, иезуит, невинный убийца, преследуемый жид. Тут убийства, кровь, зарево костров и благородная отвага, луна, любовь и балкон, с ангелом на балконе и с певцом под ним”. К тому же существовало предание, что род Лермонтовых происходил от испанского герцога Лермы, который во время борьбы с маврами бежал из Испании в Шотландию. С этим преданием носился в то время Лермонтов, утешаясь им, когда окружающие его люди пренебрежительно отзывались о его отце как о незнатном и бедном армейском офицере. Долгое время он и подписывался под письмами и стихотворениями “Лерма”.

Это увлечение Испанией, проявившись, между прочим, и в относящемся к 1830 году первом наброске “Демона”, в котором действие происходит в Испании, наиболее выразилось в трагедии “Испанцы”. В драме этой сказывается влияние не только “Разбойников” и “Коварства и любви” Шиллера, но и “Натана Мудрого” Лессинга; влияние это наиболее

ощутимо в образах старого еврея, его дочери Ноэми и старухи Сарры, напоминающих семью Натана. Как у Лессинга, в “Испанцах” герой оказывается братом Ноэми, сначала относится с брезгливостью и презрением к “жиду”, а затем склоняется перед мудростью отца и добродетелью дочери.

Вслед за “Испанцами” Лермонтов написал еще две драмы, именно “Menschen und Leidenschaften” (“Люди и страсти”) и “Странный человек”, но чтобы понять значение этих драм, имеющих особенный автобиографический интерес, следует познакомиться нам с той страшной и мучительной драмой, которую в это время пережил Лермонтов в самой жизни, – драмой, которая, по общему мнению всех биографов, наложила глубокую печать на всю его судьбу, обусловив и болезненную нервность его характера, и мрачность его произведений. К этой драме мы теперь и обратимся.

ГЛАВА III

Борьба бабушки с отцом Лермонтова, и как эта борьба отразилась на всей жизни поэта

Драма заключалась в той ожесточенной борьбе, которую вела бабушка с отцом поэта Юрием Петровичем из-за внука, и в той страдательной роли, какую пришлось юноше играть в этой борьбе своих родных. Мы видели уже выше, что когда умерла мать Лермонтова, отец недолго оставался в усадьбе тещи; неизвестно, что было между ними, но он скоро уехал, оставив сына на попечении бабушки лишь временно, пока мальчику нужен был женский присмотр. Но он не отказался совсем от своего сына, чувствуя к нему живую привязанность. Разлука с ним терзала его, и он начал приезжать порою в Тарханы, чтобы видеть сына и следить за его воспитанием. Но каждый раз, когда он приезжал, он встречал самый недоброжелательный прием со стороны бабушки и всех богатых и знатных родных ее, выказывавших не только пренебрежение к его незнатности и бедности, но и страх, как бы не заявил он свои права на сына. Страстно привязавшаяся к внуку бабушка постоянно трепетала за потерю его. Ей представлялось, что вот-вот нагрянет отец и увезет Мишу. Поэтому мальчика берегли и хранили очень строго. Когда Юрий Петрович приезжал навестить сына, тотчас же посылали на почтовых за Афанасием Алексеевичем Столыпиным в Саратовскую губернию, звать его на помощь для защиты, на случай похищения. Впечатлительный, вспыльчивый Юрий Петрович не мог хладнокровно выносить такое отношение к нему и, выходя из себя, позволял себе выходки, которые еще более увеличивали взаимные недоверие и неприязнь; к тому же и наговоры, нашептыванья и застращиванья услужливых родственников подливали масла в огонь. Первоначально Юрию Петровичу было обещано, что он будет продолжать владеть имением, оставшимся после жены, и сделается опекуном своего сына, которому должно достаться это имение. И вот родственнички нашептали ему, что бабушка хочет отнять у него имение, а бабушке, – что Юрий Петрович уступил ей сына только временно, пока не заберет денежки в руки, а там Мишу и возьмет, – значит, силу из рук нельзя выпускать. Бабушка решила, что Юрий Петрович действиями своими утратил право на данное ему обещание, и объявила, что, если Юрий Петрович возьмет сына, она лишит его наследства.

Юрий Петрович, сообразив, что воспитать ему сына не на что и что, если заупрямится, он сделает его нищим, победил в себе гордость обиженного человека, смирился, затаил злобу и для блага сына согласился оставить его у бабушки до 16 лет, сохранив за собою лишь право следить за его воспитанием и принимать участие в решении связанных с этим вопросов. Конечно, в первые годы, пока сын жил с бабушкой в Пензенской губернии, а Юрий Петрович в Тульской, условия эти были невыполнимы. Но когда Мишу повезли в Москву, отец начал наведываться чаще. По рассказам Зиновьева, он наезжал в Москву из Кроптовки с двумя незамужними сестрами, Натальей и Александрой, останавливался с ними на особой квартире, и сын навещал его, особенно же часто проводил у него праздничные дни. Воспитатели, может быть под влиянием бабушки, говорили, что отец баловал сына и имел на него дурное влияние. Сын же очень был привязан к отцу. От чуткого, восприимчивого мальчика, столь быстро и преждевременно развивавшегося, не мог укрыться семейный разлад, и не могло не поразить его болезненно резкое различие между гордою, богатою бабушкой и бедным, захудалым отцом, на которого все смотрели с таким высокомерным презрением. Доброе, отзывчивое сердце мальчика инстинктивно потянулось к обижаемому и пренебрегаемому старику, а позже заговорила в нем и гордость, заставившая его, нарочно с целью возвысить отца в глазах родных, превозноситься древностью рода Лермонтовых, выводя его не только из Шотландии, но и из Испании. Как сильно любил мальчик отца, мы видим из письма его

к тетке в Апалиху, в котором он, между прочим, пишет: “Папенька сюда приехал, и вот уже две картины извлечены из моего портфеля; слава Богу, что такими любезными мне руками”.

Но вот наконец пошел Лермонтову шестнадцатый год. Срок, на который Юрий Петрович оставил мальчика у бабушки, приходил к концу, и он мог потребовать сына обратно. Начались переговоры. В это время университетский пансион был превращен в гимназию. Многие поспешили взять из него детей своих. Лермонтов, бывший уже в старшем отделении высшего класса, тоже послал прошение об увольнении и получил его 16 апреля 1830 года. Речь зашла о том, где ему продолжать воспитание. Думая везти его за границу, бабушка мечтала о Франции, а отец о Германии.

Чем более приближался роковой для бабушки срок, тем более обострялось взаимное нерасположение тещи и зятя. В Юрии Петровиче прорывалась накопившаяся годами злоба и желание вознаградить себя за долгую разлуку с сыном; бабушка вся преисполнилась трепета от возможности потерять самое дорогое в жизни. Борьба эта всецело обрушилась на 16-летнего мальчика, находившегося как раз в таком переходном возрасте от отрочества к юношеству, когда нервы бывают особенно чувствительны и раздражительны, и ему пришлось выдержать страшную нравственную пытку, когда два любимых им существа начали положительно разрывать его на части, так как каждый старался перетянуть его на свою сторону.

Лермонтова еще более потянуло к отцу, и он совершенно охладел в это время к бабушке, – до такой степени, что в трагедии “Люди и страсти”, изобразив всю эту пережитую им драму, он обрисовал свою бабушку самыми мрачными красками, а отца, напротив, в идеальном свете. От бабушки не могло укрыться это охлаждение, и, ревнуя внука своего к отцу, глубоко огорченная, она жаловалась своей поверенной: “Все там сидит, сюда и не заглянет! Экой какой он сделался!.. Бывало, прежде ко мне он был очень привязан, не отходил от меня, как мал был. И напрасно я его удаляла от отца, – таки умели его уверить, что я отняла у отца материнское имение, как будто не ему же это имение достанется... Кто станет покоить мою старость? И я ли жалела что-нибудь для его воспитания? Носила сама Бог знает что, готова была от чая отказаться, а по четыре тысячи платила в год учителю... И все пошло не впрок... Уж, кажется, не всяким ли манером старалась сберечься от нынешней беды... Ах, кабы дочь моя была жива, не то бы на миру делалось...”

Наконец вопрос для Лермонтова, по словам биографа Висковатова, был поставлен ребром. Бабушка и отец поссорились окончательно. Сын хотел было уехать с отцом, но тут-то и началась самая тонкая интрига приближенных, с одной стороны, бабушки, с другой, – отца. Бабушка упрекала внука в неблагодарности, угрожала лишить наследства, описывала отца самыми черными красками и наконец сама под бременем горя сломилась. Ее слезы и скорбь сделали то, что не могли сделать упреки и угрозы, – вызвали глубокую жалость в чувствительном сердце юноши. Его стала терзать мысль, что, покидая старуху, он отнимает у нее опору последних дней, платит ей черною неблагодарностью за всю ее любовь, жертвы и попечения, приближая ее в несколько дней к могиле. Свои сомнения он высказывает отцу. Отец же, ослепленный негодованием на тещу за ее высокомерное пренебрежение и все нанесенные ему оскорбления, сетует в свою очередь на сына, что тот его хочет покинуть и остаться у бабушки. Неизвестно, что произошло между всеми лицами этой драмы, но в конце концов победительницею осталась опять бабушка. Юрий Петрович уехал один и вскоре умер в разлуке с сыном. Г-н Висковатов слышал, будто смерть Юрия Петровича произошла в Москве и сын был на его похоронах. Он высказывает при этом предположение, что стихотворение “Эпитафия”, находящееся в черновой тетради 1830 года, относится к отцу поэта. Г-н Висковатов предполагает также, что разыгравшаяся в семье катастрофа чуть не довела Лермонтова до самоубийства, на том основании, что мысль о самоубийстве часто встречается в лирических стихотворениях этого времени, в записанных сюжетах для драм и обе драмы его – “Люди и страсти” и “Странный человек” – кончаются самоубийством героя.

Когда прошло некоторое время и острая боль улеглась, привязанность к бабушке снова возросла. По всей вероятности, и бабушка со своей стороны употребляла все усилия, чтобы снова привлечь к себе сердце внука, а к отцу охладить. По крайней мере в драме “Странный человек” бабушка совсем уже не является, а отец выставлен далеко не столь симпатично. Без сомнения, поэту стало известно об отношении отца к матери, недаром она показана доброю, любящею, загнанною.

Тем не менее вся эта пережитая Лермонтовым драма оставила глубокий след в его характере. Он ушел в себя, сосредоточился: в нем явилось обыкновение скрывать от людей все, что было ему особенно близко и свято, выставляя себя беспечным весельчаком, шутником и шалуном даже в такие минуты, когда на душе у него были самые серьезные или мрачные мысли.

К бабушке он сохранял до могилы сыновнее почтение и внимание. На слово его старушка всегда могла положиться. Так, г-н Висковатов слышал от одного лица, близко знавшего Лермонтова, что когда открылась первая на Руси железная дорога в Царское Село, старушка, боявшаяся этого нововведения, как-то раз вырвала у внука, бывшего уже давно гусарским офицером, обещание не ездить по ней. Лермонтов свято хранил данное слово и ездил в Царское Село, где стоял его полк, на тройках. Другой близкий родственник Лермонтова рассказывал Висковатову, что бабушка так дрожала над внуком, что всегда, когда он выходил из дому, крестила его и читала над ним молитву. Он уже офицером бывало спешит по службе, на ученье или парад, торопится, но бабушка задерживает его и произносит обычное благословение, и так иногда по несколько раз в день.

Тем не менее замечательно, что в то время, как отцу Лермонтов посвятил несколько стихотворений, в тетрадах его вы не найдете ничего, что имело бы отношение к бабушке. Никогда не высказывалась горячая симпатия к ней, – словом, что-либо подобное тому, что чувствовал он к отцу.

ГЛАВА IV

Сердечные увлечения Лермонтова и ухаживания за кузинами в отроческом возрасте

В продолжение учения Лермонтова в пансионе бабушка жила зимой на Молчановке, а лето проводила в подмосковном имении брата своего Д. М. Столыпина, селе Средниково, в двадцати верстах от Москвы по дороге в Ильинское, в прекрасной местности. По воскресеньям и праздникам в бытность бабушки собиралось здесь обыкновенно большое и веселое общество, по большей части все близкие и дальние родные и некоторые соседи. Переживая ту тяжелую драму, с которой мы познакомились в предыдущей главе, Лермонтов в то же время зачитывался стихами своих любимых поэтов, особенно Байрона, и подолгу беседовал с семинаристом Орловым, дававшим уроки словесности сыну владетельницы Средникова. Орлов поправлял ошибки поэта, объяснял ему правила версификации, в которой тот был слаб, и знакомил его с народными песнями.

Находил вместе с тем Лермонтов время и для волнений страсти нежной. Так, после первой привязанности к неизвестной девочке на Кавказе второю любовью он загорелся двенадцати лет в Ефремовской деревне, в 1827 году. В тетради 1830 года он вспоминает об этом увлечении следующее: “Мне 15 лет... я однажды (три года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет и потому беспредельно любимой мною, бисерный синий шнурок; он и теперь у меня хранится. Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. Как я был глуп!”

Третьей страстью, относящейся к 16-летнему возрасту, поэт загорелся к своей соседке, Кате Сушковой. Катя Сушкова и подруга ее Сашенька Верещагина жили близ Средникова, видались иногда по несколько раз в день, и Лермонтов, спутник их еще в Москве, бывал кавалером их на разных пикниках, катаньях и кавалькадах. Ровесницы поэта, девушки чувствовали, как всегда бывает в этих случаях, свое превосходство над ним, считая себя взрослыми невестами, а его мальчиком, пользовались его услугами и в то же время потешались над ним и дразнили его. Он обижался, дулся, убегал от них, уединялся; но одно ласковое слово шаловливых приятельниц вновь привлекало его к ним до новой ссоры.

Он был в это время невысокого роста, довольно плечист с неустановившимися еще чертами матового, скорее смуглого лица. Темные волосы со светлым белокурым клочком чуть повыше лба окаймляли высокий, хорошо развитый лоб; нос был слегка вздернут; прекрасные, большие, умные глаза легко меняли выражение и не теряли ничего от появлявшейся порою золотушной красноты; под большей частью насмешливой улыбкой он тщательно старался скрыть мелькавшее на лице выражение мягкости или страдания – вот каким, по словам Висковатова, рисуют Лермонтова знавшие его в эти годы. А вот как рассказывает Е. А. Хвостова (Сушкова) в своих “Записках” о первом знакомстве с Лермонтовым: “У Сашеньки встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой. Он учился в университетском пансионе, но учебные его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье и на вечерах; все его называли просто Мишель и я так же, как и все, не заботясь нимало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки, но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от вверенной ему должности.

Сашенька и я, мы обращались с Лермонтовым как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности; он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огром-

ным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углубленным в размышления, хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сентиментальные суждения! А мы, чтобы подразнить его, в ответ подадим ему волан или веревочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прикидываться непонятым и неоцененным снимком с первых поэтов.

Еще очень посмеивались мы над ним в том, что он не только был неразборчив в пище, но никогда не знал, что ел, телятину или свинину, дичь или барашка; мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из терпения, он спорил с нами почти до слез, стараясь убедить нас в утонченности своего гастрономического вкуса; мы побились об заклад, что уличим его в противном на деле. И в тот же самый день, после долгой прогулки верхом, велели мы напечь к чаю булочек с опилками! И что же? Мы вернулись домой утомленные, разгоряченные, голодные, с жадностью принялись за чай, и наш-то гастроном Мишель, не поморщась, проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе третью, но Сашенька и я, мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобоваримую для желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже не показывался несколько дней, притворившись больным”.

Но подобные минутные размолвки не мешали Лермонтову проводить время в деревне очень весело среди своих многочисленных кузин.

“Всякий вечер, – говорит Е. А. Хвостова в своих “Записках”, – после чтения затевались игры, но нешумные, чтоб не беспокоить бабушку. Тут-то отличался Лермонтов. Один раз он предложил нам сказать правду всякому из присутствующих в стихах или в прозе, что-нибудь такое, что бы приходилось кстати. У Лермонтова был всегда злой ум и резкий язык, и мы, хотя с трепетом, но согласились выслушать его приговоры. Он начала с Сашеньки:

Что можно наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всего дороже;
Подумать не успев: ты всех милей!
Подумаю, я скажу все то же.

Мы все одобрили à propos и были одного мнения с Мишелем. Потом дошла очередь до меня. У меня чудные волосы, и я до сих пор люблю их выказывать; тогда их носили просто заплетенные в одну огромную косу, которая два раза обвивала голову.

Вокруг покойного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.

Мишель, почтительно поклонясь Дашеньке, сказал:

Уж ты чего ни говори,
Моя почтенная *Daigé*,
К твоей постели одинокой
Черкес молодой и черноокой
Не крался в тишине ночной.

К обыкновенному нашему обществу присоединился в этот вечер необыкновенный родственник Лермонтова. Его звали Иваном Яковлевичем; он был и глуп, и рыж, и на свою же голову обиделся тем, что Лермонтов ничего ему не сказал. Не ходя в карман за острым словом, Мишель скороговоркой проговорил ему: “Vous êtes Jean, vous êtes Jacques, vous êtes roux, vous êtes sot, et cependant vous n’êtes point Jean Jacques Rousseau”.¹

Еще была тут одна барышня, соседка Лермонтова по Чембарской деревне, и упрашивала его не терять слов для нее и для воспоминания написать ей хоть строчку правды для ее альбома. Он ненавидел попрошаек и, чтоб отделаться от ее настойчивости, сказал: “Ну, хорошо, дайте лист бумаги, я вам выскажу правду”. Соседка поспешно принесла бумагу и перо, он начал:

Три грации...

Барышня смотрела через плечо на рождающиеся слова и воскликнула: “Михаил Юрьевич, без комплиментов, я правды хочу”.

– Не тревожьтесь, будет правда, – отвечал он, и продолжал:

Три грации считались в древнем мире,

Родились вы... все три, а не четыре!

За такую сцену можно было бы платить деньги; злое торжество Мишеля, душивший нас смех, слезы воспетой и утешения Jean Jacques, все представляло комическую картину...

Таковыми же шутками, экспромтами, эпиграммами и нежными посланиями к предмету страсти сопровождалось веселое путешествие целым обществом в Воскресенский монастырь и Сергиевскую лавру в конце лета (таково стихотворение “Черноокой”). Во время этой же поездки было написано Лермонтовым стихотворение “У врат обители святой”, внушенное ему нищим, который, когда ему спутники поэта подали милостыню, заметил: “Поддай нам Бог счастья, господа добрые! Намедни вот насмеялись надо мною тоже господа молодые, – вместо денег положили камешков”.

Все эти ухаживания за кузинами и старания казаться совершенно взрослым и к тому же разочарованным не мешали Лермонтову во многих отношениях быть еще ребенком: так, он забавлялся тем, что клеил с сыном Столыпной, Аркадием, из папки латы и, вооружаясь самодельными мечами и копьями, ходил с ним в глухие места воевать с воображаемыми духами. Особенно привлекали их воображение развалины старой бани, кладбище и так называемый Чертов мост. Товарищем их по ночным посещениям кладбищ и прочих страшных мест бывал некто Лаптев, из семьи, жившей поблизости в своем имении.

¹ Вы Жан, Вы Жак, вы рыжий, вы глупый и все же не Жан-Жак Руссо (фр.).

ГЛАВЫ V

Пребывание Лермонтова в Московском университете

Мы уже видели в третьей главе, что по выходе Лермонтова из Благородного пансиона, 16 апреля 1830 года, был поднят вопрос о продолжении его воспитания за границей, но, к сожалению, почему-то эта идея была отклонена, а решено было приготовить юношу к вступительному экзамену в Московский университет, что и было исполнено, и 21 августа 1830 года Лермонтов подал прошение о принятии его в число своекоштных² студентов в нравственно-политическое отделение; а 1 сентября, после вступительного экзамена, он был принят, причем в скором времени переменял нравственно-политический факультет на словесный как более соответствующий его вкусам и наклонностям. Несмотря на семнадцать лет поэта, в это время характер его представляется уже вполне сформированным и обнаруживает все хорошие и дурные стороны. Так, мы видим в Лермонтове ту печальную раздвоенность, которая, составляя удел всех людей его поколения, наиболее обострялась в нем как вследствие особенностей его воспитания, обстоятельств, так и самой природы. Это был юноша, обладавший добрым, нежным, любвеобильным сердцем, крайне впечатлительный и отзывчивый на всякую привязанность и ласку, жаждавший любви и дружбы, вместе с порывистою пылкостью соединявший в себе сентиментальную мечтательность. Славянская мягкость природы Лермонтова достаточно проявилась в его метаниях между отцом и бабушкой, когда ему и папеньку было до слез жалко, и бабушку покинуть совестно и больно.

Не по летам умственно развитый, горячий поклонник Байрона, Шиллера и Руссо, Лермонтов преисполнен был уже в это время необузданных романтических порывов к безграничной свободе, вследствие чего не только все общественные условия и порядки, но и сама образованность казались ему нестерпимыми рабскими цепями, и в первом варианте стихотворения “Отворите мне темницу” он возглашал:

Я пущусь по дикой степи
И надменно сброшу я
Образованности цепи
И вериги бытия.

Противник всякого стеснения и рабства, Лермонтов, конечно же, был ожесточенным врагом крепостного права. Он уже в детстве, по словам Висковатова, напускался на бабушку, когда она бранила крепостных, выходил из себя, когда кого-нибудь вели наказывать, и бросался на отдававших подобные приказания с палкой, с ножом, – что под руку попадало. На скамье университета это инстинктивное чувство созрело в сознательный протест против крепостничества, который он не замедлил выразить в своей драме “Странный человек”, написанной им в 1831 году, на второй год пребывания в университете.

В то же время увлекли его европейские события 1830 года, о чем мы можем судить по встречающимся в записных тетрадях того времени стихотворениям. Вот они: “Ты мог быть лучшим королем”, “Опять вы, гордые, восстали”, “Привет Новгороду” и мрачное “Предсказание”, начинающееся стихами “Настанет год, России черный год...” Под влиянием тех же впечатлений Лермонтов в том же году задумал написать повесть (“Повесть без названия”), оставшуюся неоконченной, в которой описывается начало кровавых неурядиц в России, и между прочим казак поет песню, еще раньше встречающуюся в тетрадях поэта под заглавием “Воля”...

² Находящихся на своем или не на казенном содержании (*Словарь В. Даля*).

Но таким Лермонтов был только с самим собой, в затаенных думах, которые он выражал порою в своих записных тетрадах, да в тесном интимном кружке нескольких друзей и приятелей. Для всех же посторонних это был совсем другой человек: сосредоточенный в себе, необщительный, холодный; высокомерно-презрительное отношение его к людям сменялось лишь язвительно-насмешливым, и если овладевал им бес иронии и саркастического смеха, он был беспощаден в своих убийственных колкостях и насмешках.

Сознание гениальности пробудилось в нем рано, когда он и не думал еще выступать в свет, и уже тогда он сравнивал (в стихотворении “Нет, я не Байрон...”) душу свою с “огромным океаном”. Но заносчивое самолюбие его не могло удовлетвориться этим гордым сознанием, а разжигало в нем стремление блистать и первенствовать в светском обществе, высоко стоя над головами всех ничтожных в его глазах смертных. Это суетное тщеславие зависело не от одного понимания Лермонтовым своих колоссальных умственных сил, а было привито ему тою кастовою замкнутостью и чванством, в духе которых он был воспитан в доме своей бабушки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.